

Куприн в дегте и патоке

В некотором царстве, где юбилеи были неотъемлемым, а подчас и единственным украшением повседневной жизни, одну дату в переходном 1988 году, когда сказать уже кое-что можно было, не отметили. Забыли? Не могло того быть. Имелось специальное учреждение, которое дозволенные юбилеи предвосхищало и указывало градацию политической полезности: «Календарь знаменательных и памятных дат».

Эта дата осталась памятной, но не знаменательной, не ко времени. Знаменовала то, что не хотелось вспоминать, вот и сделали вид, будто не вспомнили. В советском литературоведении ветер как раз переменял направление. Из черного списка в белый стали переходить отдельные запретные ранее на родине писатели. Классик, обозначенный в заглавии, пятидесятилетие со дня смерти которого исполнилось тогда, особый. Нерешительность продемонстрировала пределы на тот момент дозволенного, некоторую растерянность и, хочется думать, чувство вины перед ним. Александр Иванович Куприн давно был разрешен, только правда о нем оставалась половинчатой, сокрытой.

Помню, в старинном пособии для домовладельцев прочитал о полезном изобретении русского умельца. Как сделать, чтобы петухи не начинали кукарекать рано, не будили хозяев? Для этого над шестком, где петухи спят, надо натянуть проволоку. Взмахивает петух спозаранку крыльями, вытягивает шею, чтобы приветствовать восходящее солнце, а тут ему проволока. Ударился и кукарекнуть не смог.

Перед российской наукой о литературе возникла сложная проблема. О чем писать стало можно, а о чем нельзя? Момент важный, ведь фотография бывает цветная и черно-белая. Нет фотографии только белой или только черной. Отечественному же литературоведению (не касаясь всего остального) на нашем веку пришлось быть и только белым, и только черным, а пуще всего ярко-красным. До многоцветного путь долог.

Даже официально признанных русских классиков советский читатель знал с искаженными биографиями и весьма произвольным толкованием их произведений, не всегда или не полностью к тому же опубликованных. Три четверти века под запретом были многие области культурного наследия. Многие в архивах безвозвратно исчезло.

Оглянемся назад. Попробуем беглым взглядом окинуть историю советского куприноведения, творчество отечественных биографов Куприна.

«Наш» или «не наш»?

Советская критика не обходила вниманием его жизнь и творчество. Хорошо это для авторов или плохо, многих других десятилетиями замалчивали, будто их на свете не было, Куприна — никогда. Но взгляды и деятельность писателя освещались на разных этапах по-разному.

Первым Куприна взвесил и оценил разъездной агент «Искры», которого Ленин назвал одним из «главных писателей-большевиков». Это был Вацлав Воровский, печатавшийся под экзотическими псевдонимами Жозефина, Фавн и Профан. Позже недоучившийся инженер Воровский стал именоваться «одним из создателей марксистской художественной критики в России». Есть все основания назвать Жозефину-Фавна-Профана одним из первых советских куприноведов, научный метод которого весьма прагматичен и, я бы сказал, целеустремлен.

Взятый у Ленина, этот метод оценки явлений литературы стал впоследствии универсальным, обеспечивая по сей день бесхитрое просвечивание любых произведений искусства. Он был записан и в уставы творческих союзов, например, в устав Союза писателей СССР. Суть его — польза для дела партии в данный момент.

Куприн-прозаик в жестких и нелицеприятных тонах описывал окружающую его «буржуазную» действительность. В «Поединке» обнажил, в «Яме» разоблачил, в «Молохе» осудил, в «Анафеме» пригвоздил. К тому же Куприн до революции печатался в издательстве «Знание», руководимом Горьким. Это дало основание Воровскому одобрить Куприна с точки зрения его приемлемости для пролетарской революции.

Хотя Воровский и пожурил Александра Ивановича за то, что в его произведениях звучит отвратительный «общечеловеческий гуманизм», а классового подхода к явлениям нет, все же, по мнению разъездного агента «Искры», у Куприна можно разглядеть прогрессивную «борьбу новых социальных начал».

Благожелательное отношение большевистской печати тех лет к Куприну объясняется и тем, что он после революции сотрудничал с издательством «Всемирная литература», а в декабре 1918 года с помощью Горького писатель попал на прием к Ленину с предложением издавать для деревни газету под названием «Земля». Предложение было принято, но, как тогда писали, не состоялось «по техническим причинам». Просто большевики еще не могли прибрать к рукам всю печать, не было ни станков, ни бумаги. Печатники, наиболее квалифицированная часть рабочего народа, столь нужная партии, были против большевиков. Факт этот любопытный и малоизученный. Узнал я о нем от американского коллеги Марка Стайнберга, профессора русской истории в Йельском университете.

Вторым ответственным партийным критиком творчества Куприна стал Анатолий Луначарский. Нарком просвещения требовал от художника связи с рабочим классом, которая у Куприна отсутствовала. В этом плане Куприну предстояла перековка, выработка цельного мировоззрения. Основные суждения Луначарского похожи на аргументы Воровского.

Когда Куприн стал редактором газеты «Приневский край», которая издавалась при штабе белой армии Юденича, а затем уехал в Хельсинки и переселился в Париж, отношение к его творчеству в советской литературной критике меняет знак «плюс» на «минус».

Оказывается, никаких прогрессивных начал, упомянутых выше, не было даже и в дореволюционном творчестве писателя. В жизни у Куприна, по мнению советских биографов конца двадцатых — начала тридцатых годов, имелись две возможности реализовать себя: революция 1905-го и Октябрьская. А у него не хватило сознательности «примкнуть». В результате в произведениях «искажался облик социал-демократической интеллигенции».

Куприн, не ведающий об играх в Москве, без цензуры пишет прозу и публицистику, печатается, скучает, как все нормальные люди в мире, по местам, где родился, стал известным писателем и куда ему, в отличие, скажем, от Тургенева, доступ закрыт. Материальные трудности переносит с юмором: «Когда меня спрашивают, как

поживаете? — я отвечаю: слава Богу, плохо». Возвращаться не думает, даже относится к этому весьма иронически. «Но что я умею и знаю? — пишет он М. К. Куприной-Иорданской. — Правда, если бы мне дали пост заведующего лесами советской республики, я мог оказаться на месте».

А в Москве тем временем Куприна (будто он подотчетен агитпропу) обвиняют в «социальной слепоте», «эпигонстве», «мелкотравчатости», «тупой покорности» (цитирую лишь малую часть выражений критики). Мастера упрекают в том, что он до революции «нигде не отметил роста пролетариата», а после революции «никак не откликается на боевые выступления масс». Оказывается, у Куприна (в тех самых произведениях, которые еще недавно столь высоко оценивали Воровский и Луначарский) литературные сыщики выследили теперь наличие «реакционной пошлости... проповеди под Ницше».

Крупный большевистский критик и редактор Александр Воронский написал статью о Куприне, который был пунктуальнейшим «деталеведом», под заглавием «Вне жизни и вне времени». Критика не злобная, как у других авторов, но, я бы сказал, жесткая, как тогда было принято. Воронский — непростая фигура тех лет, весьма умеренная на фоне других, но приговор Куприну был им вынесен недвусмысленный. Выстраивалась идеологическая стена между эмиграцией и советской литературой. Сам Воронский стал жертвой такой же травли, и даже в семидесятые годы его продолжали обвинять в том, что он «отрицал гегемонию пролетариата в области искусства».

В журнале «На литературном посту» (славное полувоенное название) от 1926 года имеется программная статья «Куприн-политик». Автор ее, Борис Волин, — примечательная и незаслуженно забытая фигура. Шеф отдела печати Наркомата иностранных дел, Волин вскоре стал главным цензором СССР — начальником Главлита и по совместительству директором Института красной профессуры, после чего сам присвоил себе звание профессора.

Поистине, классовая борьба с шестидесятилетним Куприным, мирно живущим в Париже, возводится в ранг важнейших внешних задач советского государства. В скулодробительной статье о Куприне критик М. Морозов установил: «Понятия Куприна о добродетели и красоте не выдерживают критики». И пояснил: у него в произведениях нет «женщины-общественницы», а есть «пленительные самки», у писателя «нездоровый скептицизм и идеологический дурман». Куприн, «сделавшись наиболее заклятым врагом советской России, в своих злобных нападках на нее опускается до самого оголтелого черносотенства».

Всему этому советский читатель должен был верить на слово. Имя Куприна в эти годы внесено в списки Наркомата просвещения, рассылаемые в библиотеки: его книги предлагалось сжигать. Централизованным уничтожением вредных изданий, включая сочинения Достоевского и Куприна, руководила заместитель Наркома просвещения по библиотечному делу Надежда Крупская. Другим заместителем этого наркома одно время был уже упомянутый Волин. Литературоведение черпало вдохновение не в сочинениях классиков, а в полицейских списках.

Из «анти» — в советского

Неожиданно для читателей потоки брани в адрес Куприна исчезают со страниц советской прессы. На некоторое время он перестает существовать. Затем, весной 1937 года, советская литературная критика снова меняет знак, теперь «минус» на «плюс». Куприн возвращается в Москву.

Вчерашний «оголтелый черносотенец», узнаем мы из печати, «тепло встречается советской общественностью». Книги его, те же самые, написанные до революции,

еще недавно запрещенные и «полные идеологического дурмана», теперь в авральном порядке переиздаются многими издательствами сразу, в столицах и в глухомани. Они стали, по утверждениям печати того времени, «любимым чтением советских людей». Сам Куприн, судя по газете, заявил корреспонденту, что он преисполнен желанием войти в круг писательской семьи Советского Союза. Можно ли опубликовать такое, если это заранее не согласовано и не разрешено? Он введен в цензурные списки одобренных советских писателей.

Больше того. Оказывается, бывший «заклятый враг советской России» Куприн все предыдущее время разоблачал «уродливую буржуазную действительность». Даже, видимо, тогда, когда писал антисоветские статьи в западной прессе. А то, что раньше называлось «злобными нападками» на большевиков, теперь считается «восторженным гимном борцам русской революции». В дореволюционном его творчестве обнаружат лишь один недостаток: он следовал «традиционному реализму» вместо того, чтобы следовать реализму социалистическому.

Дано указание писать о его творчестве диссертации. И они успешно защищаются теми самыми недавними погромщиками его творчества. Куприн переводится на десятки языков народов СССР. Его повести экранизируются, а пьесы (слабые, которые не нравились ему самому) спешно репетируют в театрах.

Поистине мистерия-буфф! Сотни советских писателей, преданных власти и идее, исчезают в застенках, а ореолом почета окружается вполне активный ненавистник системы. И что особо примечательно, руководят обеими процедурами одни и те же профессиональные литературоведы из органов. Разумеется, привлекая, когда это нужно, дилетантов из писательского цеха.

Александр Ивановичу не суждено было увидеть своих новых изданий, фильмов и постановок. Он умер, не успев удостоиться членства в Союзе советских писателей, не прошел испытательный срок. Кстати, писатель предсказал собственную смерть именно в этом возрасте в ранней романтической повести «Олеся». Бабка героини нагадала смерть герою — *Alter Ego* автора.

С тех пор о Куприне написано много, но и спустя полвека самыми лживыми в советских биографиях выдающегося писателя России остаются два последних коротких периода его жизни. Первый — когда он после долгих лет эмиграции тайно от знакомых заспешил на родину. И второй, когда он объявился в Москве.

Назад в светлое будущее

Арифметика играет незначительную роль в творчестве писателя, а все же любопытно посчитать годы жизни Куприна. Одногодок Ленина, он и родился в 1870 году неподалеку от Симбирска, в Пензенской губернии. Два представителя одного поколения, два сверстника. Оба честолюбивы, умны, энергичны. А пошли разными путями, несоединимы оказались их понятия добра и зла, морали, совести. Впрочем, это особый разговор.

Сорок девять лет провел Куприн в России, а затем, на втором году революции, эмигрировал. Семнадцать лет провел вонне, дольше всего в Париже, неожиданно — в незабываемый 37-й — приехал обратно и через пятнадцать месяцев (без трех дней) умер, не дожив одну ночь до дня рождения, когда ему исполнилось бы 68.

Александр Иванович и его жена Елизавета Морицевна (которую именовали также Елизаветой Маврикиевной) появились на Белорусском вокзале в Москве 31 мая 1937 года. До этого Куприн скучал, но возвращаться не хотел. Один советский критик (специалист также в области бунинской тоски по родине) называет нежелание Куприна возвращаться «эмигрантскими предрассудками». И вдруг...

В последние месяцы до отъезда состояние здоровья Куприна стало резко ухудшаться. В их парижскую квартиру зачастили представители советского посольства, напрашивались в друзья почитатели таланта — тайные агенты НКВД. Гости из Москвы рассказывали Куприным, как популярен великий писатель на родине — произведения его там буквально нарасхват. Энергично «работал» с Куприным театральный художник и иллюстратор книг Иван Билибин, вернувшийся в Ленинград годом раньше. Позже с аналогичной специальной миссией приезжал Константин Симонов с Валентиной Серовой, чтобы уговаривать Бунина вернуться: если слова не помогут, то, может, сработает кокетство красавицы-актрисы?

Дочь Куприна Ксения собиралась ехать с ними, но потом отказалась. Она рассказывала писателю и парижскому корреспонденту «Нового Русского Слова» Андрею Седых: «Отъезд мы держали в строгом секрете, и никто из писателей об этом не знал». Ксения хитрила: уговаривая отца, который стал невменяемым, ехать, она хотела избавиться от него. К. А. Куприна вернулась в Россию двадцать лет спустя и здесь написала книгу «Куприн — мой отец». Рукопись была настолько отфильтрована, что источником информации служить не может. Советские эмиссары заманивали многих, но отнюдь не всегда срабатывало. А тут получилось. История тайного от друзей и знакомых отъезда писателя уже тогда многим казалась странной. На Западе читатель знал немного больше, много было слухов. На родине же эта часть куприноведения была так же секретна, как и всякие прочие разведывательные акции.

Полпред СССР во Франции Владимир Потемкин лично руководил операцией на месте, рисовал Куприну (вот какое совпадение!) потемкинские деревни. Не изученная по достоинству околосталинская фигура, Потемкин после этого был направлен на должность замнаркома иностранных дел. Он дорос до члена ЦК и был похоронен «не по рангу» у Кремлевской стены. Именно он, в разные годы руководивший также Наркомпросом, причастен к оболваниванию нескольких поколений, прошедших через советскую среднюю школу.

Материально Куприну в Париже жилось не сладко. Бунин поделился с ним деньгами от Нобелевской премии, но их хватило ненадолго. А в СССР, уверяли представители советского посольства и спецгости, наступило полное изобилие. Им обещали бесплатную квартиру, дачу, прислугу. У него был рак пищевода и, по видимому, начались метастазы, а ему говорили, что в советских больницах и санаториях гарантируется полное выздоровление от всех болезней. В конце концов Куприных потихоньку привезли на посольской машине в советское консульство, вручили готовые серпасто-молоткастые паспорта с визами и билеты в одну сторону — в Москву. Потихоньку потому, что боялись протестов прессы, общественности, знакомых, не без оснований опасались международного скандала. Но все обошлось.

Правда, уже согласившись ехать, Куприн спросил работников советского посольства: «А можно взять с собой Ю-ю, мою кошечку?» Кошку взять из Парижа разрешили, а библиотеку — нет. Усаживаясь в вагон на парижском вокзале, Куприн больше всего, как вспоминают свидетели, заботился о кошке. «Совсем больной, он плохо видел, плохо понимал, что ему говорят». В Париже ходил слух, что Куприна подпоили.

Итак, старый писатель возвратился на новую родину, а дочь осталась.

Задание переселить живого классика, кроме НКВД и Наркомата иностранных дел, по личному указанию Сталина выполнял также секретариат Союза писателей. А в нем, как это бывает, практические заботы поручили рядовой сотруднице. Ею оказалась Серафима Ивановна Фонская, хозяйка дачи-мастерской (впоследствии Дома творчества) Союза писателей в поселке Голицыно, до которого тогда было полтора часа езды от Москвы. Тридцать лет спустя выпустили небольшую брошюрку — краткие и отполированные ее воспоминания. Я подолгу жил и работал в одной из клетушек

этого дома, чаще всего в той комнате, где жил когда-то А. С. Макаренко. Отсюда он ушел на станцию, чтобы ехать в Москву, и в вагоне умер.

Если Серафима Ивановна знала человека и доверяла ему, она потихоньку охотно и откровенно рассказывала значительно больше, чем опубликовали в книге. Особенно в тихие зимние вечера, если отключали электричество и приходилось сидеть в гостиной старого дома при керосиновой лампе. Не я один был сообразителен, чтобы записать и спрятать. Были уже публикации. Кое-что в них отлично от ниже описываемого, но я не считаю себя вправе теперь перекраивать.

Непростой была собственная жизнь Фонской. Девушка из богатой дворянской семьи, она ушла медсестрой на фронт в Первую мировую войну. После революции всегда боялась, что ее дворянство откроется. В 39-м в Дом творчества пришел оборванный и голодный человек из заключения, отсидел ни за что, спросил ее. «Сюда нельзя!» — строго сказала она родному своему брату. Побежала по клетушкам, позаняла у писателей денег, принесла из кухни продуктов и приказала: «Уходи!» Больше она брата не видела никогда. А Куприна радушно встречала, как родного.

Именно в Голицыно Александр Фадеев и его помощники решили поместить редкий экземпляр писателя-возвращенца, чтобы начать создавать из него образец для подражания. Но сперва, сразу после торжественной встречи с духовым оркестром и перед отправкой в Голицыно, Куприных поселили на несколько дней в центре Москвы в удобной для них и для НКВД гостинице «Метрополь», где тогда жила также партийная элита не высшего эшелона и удравшие из своих стран лидеры компартий. Номера в «Метрополе» по известным причинам часто освобождались, жильцы исчезали.

Куприных прокатали по Москве. В прогулках вернувшегося классика сопровождали «молодые писатели», которые отслеживали каждый его шаг, каждый контакт. Он часто плакал, а больше молчал. Упрямылся, не хотел делать, что его просили, но соглашался, если ему обещали стакан вина. В праздник Куприных провели на трибуны неподалеку от мавзолея и показали военный парад на Красной площади. Восторги писателя по поводу того, что он видел, регулярно печатали газеты, но неизвестно, выражал ли он эти восторги и в какой форме.

К приезду Куприных в Голицыно, как рассказывала мне Фонская, она сняла за счет Литфонда дачу с березками возле окон. Ее обставили казенной мебелью с инвентарными номерами. Заранее Фонская отыскала в Голицыне кухарку, которая знала и обязана была петь русские народные песни. Куприных повезли на автомобиле.

Погода была чудесная. Сутра на площадке возле дома-мастерской репетировалась встреча. На волейбольной площадке выстроили роту из соседней войсковой части, которая отрабатывала троекратное «ура». За забором толпились любопытные прохожие. Простые советские писатели всегда ходили через черный ход, а по этому случаю оторвали гвозди и открыли дверь с террасы в сад. Журналист из «Комсомольской правды» Александр Чернов, сидя на ступеньках, набрасывал вопросы для интервью с классиком. Талантливую комсомолку-прозаика и красотку Анну Кальму, загоравшую в кустах в купальнике, прогнали для очистки горизонта от фривольностей. Об этом пожилая писательница рассказывала мне сама тридцать лет спустя.

Едва худой сторбленный старик с прищуренными слезящимися глазами, поддерживаемый с обеих сторон, шатаясь, вылез из автомобиля, он, к удивлению представителей власти, вдруг бойко крикнул командиру роты, подготовленной для приветствия: «Здравия желаю, господин унтер-офицер!» «Он не господин, а товарищ командир», — подсказали Куприну компетентные сопровождающие. Троекратное «ура» скомкалось. Из дома вынесли кресло и поставили на площадке.

До этого на политзанятиях красноармейцам вслух читали отрывки из Куприна и приказали заучить наизусть вопросы, которые следует задать писателю. Вопросы эти сразу отмела Елизавета Морицевна, сославшись на усталость писателя после дороги.

Тогда командир роты, согласно сценарию, пригласил Александра Ивановича выступить в воинской части, где солдаты, все как один, любят его произведения. Тут опять Елизавета Морицевна ответила, что писатель сейчас нездоров и не выступит.

В гостиной дома-мастерской был накрыт стол с дымящимся самоваром. Гостей посадили на почетные места. «Как вам нравится новая советская родина?» — задал первый вопрос представитель «Комсомольской правды». — «Ммм... Здесь пышечки к чаю дают», — ответил Александр Иванович и, не обращая внимания на остальных, стал пить чай.

Поняв, что от странного классика ничего не добьешься, корреспондент стал спрашивать жену его, и сговорчивая Елизавета Морицевна отвечала за Александра Ивановича. Потом красноармейцы устроили во дворе русские пляски под гармошку, чтобы развеселить почетного гостя. А он захныкал и сказал, что устал и хочет спать. Серафима Ивановна поспешила отвести Куприных на снятую для них дачу.

Старики жили одиноко. До Москвы — долго трястись в паровозной копоты. Куприн то и дело бредет к почтовому ящику, ждет писем из Парижа от дочери. Письма не доходят. Старик встает на колени возле деревьев, плачет и целует березки. После полудня Александр Иванович дежурит за калиткой на улице, ожидая, когда в соседней школе кончатся занятия. У проходящих мимо детей он просит тетрадки по геометрии. Он приносит их домой и перерисовывает квадраты и треугольники. Может, пытается вспомнить азы математики, которую зубрил в юности в кадетском корпусе?

Тяжело болен писатель был давно. Краку добавился глубокий склероз (возможно, это то, что сейчас называется болезнью Альцгеймера), и организаторы переезда с нетерпением выжидали удобного состояния больного. Когда симптомы стали более явными, служащие советского посольства в Париже начали действовать активно. Об этом свидетельствуют не только западные очевидцы событий, но и советские, вроде упомянутого выше репортера Чернова.

Любопытно, что так называемые интервью с Куприным, те, во время которых за него говорила Елизавета Морицевна, или другие, просто сочиненные в инстанциях, иногда печатались в виде статей, будто бы написанных самим возвращенцем. Куприн заявляет: «Я совершенно счастлив». Он благодарит советское правительство и кается, что недопонял преимущества новой власти своевременно. «...Я сам лишил себя возможности деятельно участвовать в работе по возрождению моей родины. Должен только сказать, что я давно уже рвался в Советскую Россию, так как, находясь среди эмигрантов, не испытывал других чувств, кроме тоски и тягостной оторванности». «Я остро чувствую и осознаю свою тяжкую вину перед русским народом», — кается писатель. Какую вину? В чем? Все это писали за него — для внутреннего употребления и для заграницы.

Куприн, который уже везде в печати именуется «патриотом социалистического отечества», то и дело твердит благодарности советскому правительству, захлеб хвалит все, что увидел в СССР: города, заводы, дворцы, метро в Москве, проспекты, каких, конечно же, нет за границей, высокий уровень образования всех, включая домработниц.

Прохожие, судя по статье, на улицах дружно кричат: «Привет Куприну!» «Всех их радует то, что я, наконец, вернулся в СССР». В особом восторге Куприн от советских юношей и девушек. «Меня поразили в них бодрость и безоблачность духа, — пишет последний могиқан критического реализма о Москве 37-го года. — Это — природжденные оптимисты. Мне кажется даже, что у них, по сравнению с юношами дореволюционной эпохи, стала совсем иная, более свободная и уверенная походка. Видимо, это — результат регулярных занятий спортом».

Не шибко грамотный стиль, комсомольский оптимизм, дежурная политическая труха вместо наблюдений свидетельствуют, что Куприн такого ни написать, ни произнести не мог. Читаешь и думаешь: может, авторы этих интервью сознательно сочиняли для потомков пародийные тексты, не имея возможности сказать правду? Но, к сожалению, все было серьезно.

Куприн пишет, что привезенная из Парижа кошечка Ю-ю чувствует себя в Советском Союзе прекрасно, «вызывая бурный восторг детишек». «Даже цветы на родине пахнут по-иному, — рассказывает классик. — Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей». Если он скучал по родине, то это можно было бы понять. Но следом из газеты вылезает аграрно-политический кукиш: «Говорят, что у нас почва жирнее и плодороднее». В очерках нет мыслей Куприна, в них отражены основные тезисы текущих речей товарища Сталина на тему «Жить стало лучше, жить стало веселей». Тосковал Куприн по России, а приехал в СССР.

Деньги, вложенные в переброс писателя из страшного мира капитала в светлое завтра, начали приносить политические проценты. Экранизируется купринский «Штабс-капитан Рыбников», в котором разоблачается японский шпион в Петербурге во время русско-японской войны, и газета печатает заявление писателя, что его рассказ «перекликается с современностью». Будто ставили кино, а об этом не догадывались.

Организаторы операции под кодовым названием «Куприн» отнюдь не считали свою работу завершенной. Вскоре Куприна убедили отправить письмо Ивану Бунину, рассказать, как хорошо живется в Советской стране, уговорить и его возвратиться из эмиграции. Правильное письмо было сочинено, и Куприн его подписал. Бунин на это письмо не ответил.

Проценты в актив агитпропа продолжали поступать долго и после смерти писателя. Был снят фильм «Гранатовый браслет», разоблачающий все, что надо. В январе 1986 года «Литературная газета» опубликовала воспоминания Валентина Катаева о беседах с вернувшимся Куприным. В.П.Катаев, приходится заметить, всегда вовремя оказывался возле классиков. Помните его воспоминания о Бунине? Они создавались в разное время, слоями. Ранний слой был — «Бунин и я», средний слой — «Мы с Буниным», последний — «Я и Бунин». Столь же точны его философские беседы во время прогулок по Москве с Куприным, сочиненные полвека спустя.

Болезнь Куприна быстро прогрессировала. Поведение писателя было, как говорят психиатры, неадекватным. Его перевезли на арендованную дачу в Гатчину, под Ленинград, обещали вернуть дом. Библиотека Куприна в его Гатчинском доме после революции была разворована, и сейчас еще на черном рынке появляются раритеты с его подписью и дарственными надписями ему.

Вернувшийся из-за границы всемирно известный автор оказался прочно отрезан от цивилизации. Он не сумел бы, даже если б мог, ни возмутиться, ни высказать слово, которое бы услышали на Западе.

Скоро Александра Ивановича торжественно похоронили. Организации, занимавшиеся живым Куприным, сдали его досье в архив и занялись другими эмигрантами. А миф было поручено докраивать творческим союзам. На Запад потекли статьи о счастливой жизни, которую увидел Куприн перед смертью, о его значении для социалистической культуры. За все эти измышления писатель ответственности не несет. Мертвые сраму не имут, а наш несчастный Фауст и по сей день расплачивается за сделку с Мефистофелем.

Через пять лет, весной 43-го, Елизавета Морицевна повесилась в Гатчине от голода, холода, тоски и бессмысленности существования.

Приказ — считать классиком

Последующие полвека можно охарактеризовать как апофеоз советского куприноведения. К сожалению, с потерей не только чувства исторической реальности, но и простой стеснительности.

Перед возвращением Куприна из-за границы советская пресса вела себя сдержанно. Что если операция сорвется? Возьмет старик да заупрямится. «Правда» сообщила о выезде Куприна из Парижа 31 мая, когда его встретили в Москве. Пока Куприн был жив, авторы, писавшие о нем, как и компетентные органы, все же осторожничали: вдруг кто из иностранных журналистов, знавших Куприна много лет, опровергнет опубликованную чепуху. А в советских издательствах будто плотину прорвало: отдельные издания, дешевые и подарочные, рассказы для детей, избранные однотомники и собрания сочинений — миллионные тиражи.

Из многочисленных монографий, посвященных Куприну, статей и комментариев к его сочинениям советский читатель знал, что Куприн дружил с основоположником соцреализма Горьким. Но не положено было знать, что Куприн порвал с Горьким и его издательством «Знание» из-за расхождения во взглядах, сочинил на него злую пародию, а сотрудничал с Арцыбашевым, печатался в журналах «Мир Божий» и «Русское богатство», которые противостояли марксизму.

В советских исследованиях доказывалось, что статьи Куприна времени революции выражали радость перемен. Но замалчивалось, что речь шла о февральской революции. Как бы забывалось, что его рассказы «Гатчинский призрак», «Открытие», «Старость мира» полны скепсиса. Не упоминалось, что Куприн был арестован большевиками и лишь по счастливой случайности, в отличие от Гумилева, избежал расстрела.

В предисловиях и послесловиях компетентных авторов непременно говорится о том, что покойный писатель, хотя и был талантлив, «часто заблуждался, но в конце концов пришел к единственно правильному решению, что только величайший гений социализма ведет к расцвету человечности в этом измученном противоречиями мире». И еще: «Он гневно восставал против врагов Октябрьской революции и вместе с тем сомневался в ее успехе и в ее подлинно народной сущности».

Оказывается, эмигрировал Александр Иванович по недоразумению: «Поступок этот был неорганичен для него, был случаен», в эмиграции он «почти бросил писать». Это все сочинил о Куприне достойный человек — Константин Паустовский. Что греха таить, в отличие от героинь купринской «Ямы», советским авторам приходилось торговать не только телом, но и душой.

Из статей самого мастера, опубликованных на Западе, из воспоминаний его современников явствует, однако, что он «восставал» не против врагов Октябрьской революции, а против самой революции, утверждая, что, кроме бедствий, ничего она народу не принесла и не принесет.

Социализм виделся писателю серым существованием. «За счастье людей 33-го столетия, — пишет он, — нет никакого интереса разбивать голову». Проще говоря, Куприн за живого человека и против идеи насильно его осчастливить. Замысел Ленина только начинал реализовываться, а Куприну уже видел его суть: «Даже если эксперимент будет неудачным, если миллионы погибнут, а миллионы будут несчастны, он — эта помесь Калигулы и Аракчеева — спокойно оботрет нож о фартук и скажет: «Диагноз был поставлен верно, операция произведена блестяще, но вскрытие показало, что она была преждевременной. Подождем еще лет триста...»

Коммунизм для Куприна — это «рай под заряженными ружьями». Именно из этого рая он бежал, а не просто по недоразумению «оказался на своей даче в

Гатчине, отрезанным белыми от Петрограда». Именно осознав суть власти в городе на Неве, стал Куприн редактором антибольшевистской газеты «Приневский край». Эмигрировал не «в состоянии растерянности» и не «случайно», как написано в его советских биографиях, а вполне целеустремленно спасался от террора.

Лишь только Куприн отошел от революции, творчество его начало, писали критики, затухать. Его бранили за отсутствие «передового мировоззрения». А у него всю жизнь было отвращение к толпе. Революция для него — бессмысленное движение массы людей, и больше ничего. Сразу после Октября он мягко заявил, что учение о диктатуре пролетариата «перешло в дело не вовремя». В одном он ошибся: считал, что новый порядок долго не продержится.

Эмиграционный период был малоплодотворным в творчестве Куприна, узнаем мы из советских исследований. «На чужбине писатель не создал ничего значительного, мучительно тосковал по России и постепенно осознавал свои ошибки».

А в действительности с 23-го по 34-й год Куприн издал шесть книг, написал пятьдесят новых рассказов и три большие повести, фактически романы. А еще его многочисленные статьи и эссе. Правда, в них прошлое России представляется не столь мрачным, как раньше. Но мы понимаем почему. Все познается в сравнении. Написанный в Париже дневник путешествий по Франции «Юг благословенный» демонстрирует нам стиль зрелого журналиста, каковым Куприн был с молодости, когда в начале века описал свой полет на одном из первых самолетов, едва не стоивший ему жизни, когда ради того, чтобы понять, что есть в жизни риск и страх, заходил с папиросой в зубах в клетку к тигру — покурить.

Разумеется, в Советском Союзе публиковали ту часть творчества Куприна, которая «соответствовала». Недоступны были (хотя приводились выгодные цитаты) труды западных авторов о Куприне: Глеба Струве, Александра Дынника, Георгия Адамовича, Стефана Грэхема, Лидии Норд, Ростислава Плетнева, многочисленные мемуары о нем и западные издания, в которых он печатался.

Во время известной послесталинской оттепели либеральный журнал «Новый мир» высказался против догматизма в оценках Куприна (которыми не мог не грешить сам журнал). Но в период застоя критика снова принялась стыдить классика за реализм, далекий от последовательно революционной идеологии.

Впрочем, согласно Литературной энциклопедии 1966 года, Куприн уже дозрел до этой идеологии, потому что изобразил «яркий общественный протест против Молоха-капитализма» и выразил «восхищение героизмом вождей революции», хотя и опасался за судьбы культуры. А в статье «Русская советская литература как литература социалистического реализма» в третьем издании Большой советской энциклопедии Куприн просто был причислен к советским писателям и уже вместе с другими начал вести борьбу за коммунизм.

После развала Советского Союза живые умные писатели перестали вести эту борьбу, лозунги давно сняли. А мертвый бессловесный Куприн, получается, ведет. Я не удивился бы, если б следом за Пастернаком и Галичем его сделали бы членом Союза писателей. В конце восьмидесятых в Москве оставалось две организации, принимавшие покойников: Союз писателей и крематорий. Но вскоре и сам единый Союз писателей приказал долго жить.

Даже личная жизнь Куприна подгонялась под стандарты идеологических мифов. Он был человеком раздражительным, вспыльчивым и независимым во мнениях, невоздержанным на слово и дело. Без серьезного повода при гостях бросил горящую спичку на подол платья первой жены. К счастью, женщину спасли. От второй жены у него был ребенок, когда он еще не разошелся с первой.

Грешник, он не стеснялся приводить героинь своего романа «Яма» в приличное общество. Напившись, буянил, оскорблял, становился непредсказуем. Любил природу

и — любил травить кошку собаками. «Ему нужно было бы, — вспоминает Тэффи, — плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего с пиратами».

Еще во время войны и революции Куприн начал от тоски пить. Аркадий Аверченко писал о нем: «В таком виде не надо показываться на людях, а сидеть, спрятавшись, как медведь в берлоге». Многие годы Куприн страдал нашей несчастной российской болезнью, оживлялся, только выпив. Жена старалась давать ему не более стакана вина в день. Георгий Адамович называл это состояние Куприна смесью умудренности и старческого маразма. Периодами питье занимало классика больше политики (что литературоведами в штатском было учтено), ведь именно обещаниями выпивки и вымогали у него нужные подписи.

За три года до возвращения Куприн выразил свое отношение к давнему отъезду в Москву Алексея Толстого: «Уехать, как Толстой, чтобы получить крестишки иль местечки, — это позор, но если бы я знал, что умираю, непременно и скоро умру, то я бы уехал на родину, чтобы лежать в родной земле».

«Опустившись, почти потеряв память и волю, — писал канадский профессор Ростислав Плетнев, — он уехал в СССР с женою и дочерью весною страшного 1937 года... Он боялся, что ему вспомнят его статьи в газетах «Общее дело», «Последние новости», «Сегодня», «Возрождение» и особенно в «Русском времени». Разумеется, то, что Куприны уехали с дочерью, здесь оговорка: Ксения появилась в Москве в 1958 году.

В Москве Куприн очень удивился совету забуддыги-пьяницы, которого он привел домой и который, послушав наивного старика, посоветовал поменьше болтать лишнего. Об этом же писала в воспоминаниях Лидия Норд. «Неужели это правда насчет слезки? — спрашивал ее классик в недоумении. — Но в моем доме, кто? Прислуга? Сиделка? Доктор?» Не исключено, добавим мы, что и пьяница, рекомендовавший писателю держать язык за зубами, был не случайный забуддыга. После возвращения писатель не начертил ни строки прозы, ни единой записи в дневнике. А написанные за него тексты до сих пор цитируются.

Никто писателя не лечил, пока ему не стало совсем плохо, и жена потребовала врачей. Более чем через год после приезда (10 июля 38-го года) ему сделали операцию, которая была бессмысленна, а возможно, и сократила его жизнь. Умер Куприн 25 августа.

Не было в советских публикациях даже упоминания о том, что перед смертью в ленинградской больнице Куприн потребовал священника. Сознание больного прояснилось, и писатель долго беседовал со святым отцом наедине. О чем беседовал? Кто был этим священником? Наверняка, записали исповедь и положили на стол тому, кому надо. Узнать бы на какой полке и в каком неведомом архиве это лежит.

Позже в биографиях писателя стала выдвигаться другая причина его смерти. «Многолетнее пребывание Куприна в эмиграции сильно повлияло на его здоровье, надорвало его силы, превратило преждевременно в старика», «...разлука с Россией, затянувшаяся на семнадцать лет, окончательно подточила его мощное когда-то здоровье».

Советские критики утверждали, что Куприн вместе с Циолковским стал основоположником советской научной фантастики и коммунистических утопий, продолженных затем Алексеем Толстым. А может, антиутопий? И продолженных не придворным автором «Хлеба», а совсем другими людьми?

В рассказе Куприна «Тост» действие происходит тысячу лет спустя. За пролетарской борьбой на Земле с ужасом наблюдают с других планет. Герои рассказа предлагают тост за мучеников прошлого, за жертвы кровавого террора: «Разве вы не видите этого моста из человеческих трупов, который соединяет наше сияющее настоящее с ужасным, темным прошлым? Разве вы не чувствуете той кровавой реки, которая вынесла все человечество в просторное, сияющее море всемирного счастья?»

Ясновидец Куприн написал этот рассказ во время уличных боев 1905 года и опубликовал в сатирическом журнале «Сигналы» год спустя. Революцию он называл «черной молнией», а Петра Первого и Ивана Грозного — большевиками. Если Александр Иванович и прокладывал кому-нибудь дорогу в утопии, то это были Замятин, Булгаков, Оруэлл.

До революции Куприна печатали нарасхват крупнейшие издатели во многих странах. Острота в повороте фактов, зримость картин, грубовато-сочный язык с самого начала выделили мастера. Уважение к человеческому достоинству, защита, как мы теперь говорим, прав человека, ненавязчивость суждений, тонкий и грустный, я бы даже сказал, серьезный юмор, — стали купринскими литературными принципами. «Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Листригоны», роман «Яма», который принято называть повестью, читаются и перечитываются поныне.

Сочинитель крепко сколоченного короткого рассказа, Куприн, в отличие от большинства его коллег, не ушел навсегда в романисты, но сочинял рассказы почти всю жизнь. Что-то он взял от манеры описания подробностей у Льва Толстого, что-то от краткости и точности Чехова. Последний классик уходящей эпохи развил и передал мастерство и принципы воплощения литературной правды, какой ее видит и отображает автор, целому поколению русских писателей во всем мире. Талантливый, въедливый в факты прозаик, он и журналистское слово лепил вкусно. Вряд ли Куприн читал все, что писали о нем на родине. Но и его публицистику в эмигрантской печати не читали те, кто о нем в Москве писал.

Нравовучения классикам мировой литературы десятилетиями определяли суть литературоведения и всего гуманитарного образования в Советском Союзе. Кодекс соцреализма превратил великую литературу в великую макулатуру. Друг Куприна писатель Николай Никандров, умерший в 1964 году, перед смертью просил написать на своей могиле: «Убит Союзом писателей».

Авгиевы конюшни предстоит разгрести литературоведению в России, чтобы снять толстые наслоения предвзятости и унылой одноцветности. В оценке писателей и литературных явлений все еще жив вульгарный социологизм, утюгом проходящий по живому творчеству писателя.

Мне возражат: литературоведение — зависимая наука. Чего от него ждать, если не было свободы в самой литературе? Книгохранилища стерилизованы, и Бог знает, удастся ли их восстановить. Архивы державы напоминают евнухов, которым декретом предложили воспроизводить потомство. Думаю, законы социалистического искусства открыл вовсе не Маркс, а английский физик Дальтон. Суть их — патологическая неспособность различать цвета.

Шатаясь, вышла на костылях из застенков исхудавшая история — другой хлипкий источник литературоведа. Куприн, кажется, предвидел это: «А ведь русская литература, — как бы ни уродовали, ни терзали и ни оскотили ее всем известными обстоятельствами, — всегда была подвижнической».

Мэтр написал эти слова еще до революции. Сегодня они звучат как напоминание, как завет последнего из могикан. Куприноведению, столь легко менявшему одни предвзятые позиции на такие же предвзятые другие, суждено поменяться опять, на этот раз в поисках истины.